

*Моему отцу, который привел меня,
четырёхлетнюю, в музыкальную школу*

Ольга Нижельская

ПИАНИСТЫ

РОМАН

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44
Н60

Редактор АНАСТАСИЯ ШЕВЧЕНКО

Нижельская О.

Н60 Пианисты : [роман] / Ольга Нижельская. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024. — 400 с.

ISBN 978-5-00223-257-4

Пианисты Андрей и Олег знакомы с детства, со времен учебы в музыкальной школе. Но их судьбы складываются по-разному. Один — из провинциальной семьи преподавателей-музыкантов, другой — сын статусных родителей-москвичей. Оба талантливы и харизматичны. Каждый на свой лад выстраивает отношения с женщинами. Замкнутость Андрея, его погруженность в музыку приводят к конфликтам на работе и дома. Излишне общительный Олег также сталкивается с жестокой действительностью. В итоге пианисты оказываются в криминальной ситуации на одном из островов Юго-Восточной Азии.

В книге мир классической музыки предстает как яркий многоликий калейдоскоп, где престижные концертные залы сменяются сельским клубом, знаменитые фестивали — мастер-классом в глубинке. Молодежь из бразильского оркестра во главе с неистовым дирижером вместе с солидным адвокатом и продюсером из Германии приходит на помощь российским пианистам. Но смогут ли друзья выйти из этой истории достойно и сохранить каждый свою любовь?

Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны.

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-257-4

© О. Нижельская, 2024
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

I

Рояль звучал не совсем так, как хотел Андрей. С одной стороны, сам инструмент был уже далеко не идеален. Старенький «Бёзендорфер» явно доживал свой век, он был благороден и, как все благородные и благодарные создания, старался показать хозяину все, на что он способен. Но пара нот в верхнем регистре уже откровенно дзенькала, а в контроктаве слышалось раздражающее дребезжание.

В таком месте, на острове почти на краю земли, было бы странно требовать от администрации отеля более качественный инструмент в номер. И этот был по-своему хорош. Как говорили, он остался от одного пожилого немца, ценителя искусств, коллекционера, решившего последние годы жизни провести именно в этих местах. Его дом располагался здесь неподалеку. Но хозяин умер несколько лет назад, наследники распродали все имущество, включая рояль и дом. Инструмент продолжил жить уже другой, менее счастливой жизнью. Какое-то время он простоял в фойе отеля «Альмира», пока не нашел пристанище в роскошном «Тадж-Махале», в номере известного пианиста из России Андрея Обухова.

Пианист и инструмент хорошо понимали друг друга. Андрею рояль нравился — внешний вид выдавал в нем аристократа. Всеми своими линиями и оттенками небольшой

инкрустации по бокам его ореховый корпус подчеркивал высокое происхождение и право претендовать на лучшую судьбу. Резной пюпитр на углах имел едва заметные сколы, но свою главную работу — поддерживать нотные тома, листы и даже только что появившиеся планшеты — он выполнял исправно. Массивные ножки, напоминавшие у старых инструментов перевернутые пузатые шахматные фигуры, здесь явно приобретали статус ферзей.

С другой стороны, дело было не только в инструменте. Андрею казалось, что он и от себя не может никак получить настоящего результата. Пьесы малоизвестного композитора Василевского, найденные Андреем в Научной музыкальной библиотеке Петербурга, были крепким орешком. Но именно поэтому они не давали покоя пианисту: если их исполнить так, как это поясняет сам композитор в своих письмах к Скрябину, это могло бы стать новым этапом как в карьере самого Андрея, так и в истории русского пианизма.

Пока же особенно не давались вот эти нисходящие пассажи аккордов для правой руки при одновременном массиве октав в левой. Да еще такой нестандартный размер. И тональность не самая удобная — ре-диез минор, с шестью диезами. Но гармония покоряла Андрея: здесь был и вполне традиционный мелодизм, способный разбавить душу любого слушателя, но и модерн уже давал о себе знать. Получалась такая неоклассика, которую особенно ценил Андрей и которую хотел представить миру.

Все было не зря. Еще за несколько дней до того, как уединиться здесь, на одном из островов Южных морей, ему посчастливилось обнаружить в Петербурге заветный архив Василевского. Но из-за вечной суеты, неприятностей дома и с оркестром руки до этих нот не доходили. Композитора мало кто знал. Андрей случайно прочел о нем в переписке Скрябина и Струве — кроме самого имени, восхищения самобытностью этого неизвестного сочинителя, никакой

другой информации о нем не было. Помог, как это часто бывает, случай. Давний друг, известный петербургский критик, зная страсть Андрея к поискам и исследованиям, сообщил, что, кажется, архив этого загадочного представителя русского музыкального мира существует. Но надо все проверять.

Волнение Андрея тогда было нешуточным. Он даже боялся, что его трепет могут заметить специалисты из отдела рукописей и нотных изданий, помогавшие ему разобраться со старыми картотеками. Но то, что они обнаружили, превзошло все ожидания. Два цикла — пьес и этюдов — Василевского, в авторской редакции, были скопированы и стали гордостью нотной библиотеки Андрея.

Сегодня пианист бился над «Бурей». Это была девятая пьеса из двенадцати, объединенных в цикл под названием «Сцены из жизни человека и природы». Идея напоминала о «Божественной комедии» Данте: здесь также соединились философские и душевные переживания композитора. Технический уровень был настолько высок, что даже Андрею некоторые места казались неоправданно сложными. Воспримет ли такое публика? Хотя о публике он думал в последнюю очередь. Надо было полностью подчинить себе самые трудные фрагменты, добиться легкости там, где пока приходилось продираться сквозь дебри многослойных гармонических рядов, скрывавших за собой истинный смысл этой музыки. Но смысл ускользал, прятался, как будто за накинутой на него плотной тканью — наподобие той, которой укрывают незавершенную скульптуру.

И все же рояль звучал, звучал уже лучше — более слаженно, более уверенно, убедительно. Звуки наполняли помещение светлого и просторного номера, в котором Андрей жил уже несколько недель. Он правильно сделал, что приехал сюда. Здесь можно было побыть одному: персонал проявлял деликатность, никто не осмеливался надоедать известному пианисту. И гости отеля, люди состоятельные,

ценили свое спокойствие и уединение не меньше Андрея. Он мог разговаривать со своим инструментом часами, ему никто не мешал. Да и он никому не мешал. Просто сразу предупредил: будет вынужден репетировать подолгу.

Ему предоставили большой люкс в дальнем крыле с видами на океан. Кажется, он так и назывался — океанский сюит. По размеру он был больше, чем московская квартира Андрея, и это даже немного смущало. Обилие мебели в номере должно было служить гостям, привыкшим жить тихо, мягко, комфортно до приторности. Диваны, кресла, журнальные столики, стулья, подставки на ножках разной высоты, бог знает для чего предназначенная посуда из тонкого стекла в угловой витрине — вся эта роскошь требовала другого образа жизни и на Андрея смотрела словно с недоверием, как будто выражая недовольство, что ее, такую прекрасную, не могли по достоинству оценить и даже игнорировали. Андрею удалось «обжить» лишь несколько точек этого пафосного пространства: постель, ванную и рояль, вокруг которого концентрическими кольцами скапливались самые важные вещи, то есть ноты, книги, компьютер, планшет, наушники, небольшие внешние динамики для прослушивания записей из его электронного хранилища. Он очень жалел о том, что не может временно пользоваться пластинками из домашней коллекции, оставшейся в Москве. Кое-где среди этих вещей можно было увидеть забытое полотенце, брошенную бейсболку. И сегодня, возвращаясь после пробежки в номер, он машинально стянул с себя майку и даже не понял, куда она делась. Что-то его вновь толкнуло к инструменту, и он опять забыл обо всем.

Андрей думал о том, что местами «Буря» уже стала ему понемногу подчиняться, хотя это было неверное слово. Они с этой музыкой как будто шли навстречу друг другу, приглядываясь, подходят ли, не обманет ли один другого. Но добиться полного доверия и понимания пока не удавалось. Для этого не хватало какой-то малости.

После безумной кульминации, в которую слились все мыслимые звуки рояля, последовала небольшая пауза и умиротворяющий заключительный фрагмент. На этом музыка замирала, как будто пытаясь услышать собственное эхо. Наконец воцарилась тишина, и вдруг среди этой тишины, буквально в тот момент, когда в концертных залах исполнителю кричат «браво», чтобы его не успели заглушить аплодисменты, Андрей услышал за спиной и «браво», и громкие хлопки. Он обернулся — в дверях стоял Олег..

— О боже! Глазам своим не верю. Как ты вошел? Какими вообще судьбами?

Олег раскатиисто захохотал.

— Хотел тебя удивить, приготовить, так сказать, сюрприз. А впрочем, с тобой это несложно, — он пожал широкими плечами. — К тому же здесь горничные очень миленькие. И сговорчивые.

Олег наклонил голову набок, сдвинул на кончик носа экстравагантные затемненные очки и хитро подмигнул. Он исподлобья вглядывался в Андрея:

— Неужели не рад?

— Ну что ты. Как я могу быть не рад? — Андрей поднялся с банкетки и пошел навстречу другу, пытаясь понять, что в нем изменилось. — Тебе говорили, что ты в этих очках похож на чертика, выскочившего из табакерки?

— Минуты не прошло, а уже наезд. Ты почто «Валентино» обижаешь? Между прочим, тренд сезона, прямиком из Милана. Пятьсот евро — это тебе не фунт изюма. Кстати, могу уступить по-дружески. Всего за шестьсот.

— Ценю твою щедрость. Тренд так тренд, ладно. Но я такие не ношу, — сдержанно проговорил Андрей, пожимая руку подошедшему другу.

— А где твое чувство юмора? Совсем на своем острове одичал. Кстати, ты в курсе, что несколько наших из консерватории затерялись в океанских широтах? Занялись вдруг духовными поисками... Или просто все осточертело. Вот

как, оказывается, действует воздух свободы, и не только девятых, но и нынешних нулевых. Интересно только, как они на сцену будут возвращаться?

Олег мерил шагами номер, но поглядывал и на друга, словно пытаясь уловить его настроение. Андрей торопливо убрал с кресел разбросанные вещи:

— Садись, отдохни с дороги...

— Между прочим, ты меня сейчас полюбишь, — Олег опустился в кресло, пристраивая в ногах мягкую кожаную сумку. — Я заезжал к твоей матушке. Она за тебя волнуется. Вид у нее какой-то болезненный, явно чем-то встревожена. Просила передать письмо и конфеты, твои любимые. Ты с ней на связи?

— Ну конечно...

Андрей задумчиво сел напротив.

— Так странно, дверь мне открыла какая-то женщина, наверное помощница.

— Да, она нам помогает...

Андрей говорил с матерью по телефону пару дней назад. Она пыталась его успокоить, что все нормально, чувствует себя сносно, но угасший голос выдавал и моральную усталость, и бессилие... Андрей побоялся расспрашивать обо всем, хотел сосредоточиться на своих задачах и вообще — пора все забыть...

Олег наклонился к лежавшей у ног сумке, плавно расстегнул молнию и стал перебирать содержимое. Андрей внимательно наблюдал за другом. Всегда высокий, статный, крепкого телосложения, с развернутыми плечами, Олег в любом возрасте производил впечатление человека уверенного и решительного. А знали они друг друга со школы. Его корпулентность часто давала ему преимущества за роялем — его звук, как правило, был сильным и мощным, не было нужды наваливаться на клавиатуру всем телом, как приходилось поступать субтильным ученикам и студентам. Однажды на отчетном концерте, во время выступления

Олега, у рояля отлетела планка под клавиатурой. Пришлось вызывать мастера в перерыве.

И сейчас друг был в отличной форме. Вот только уже слегка нависавшее над ремнем брюшко выдавало в нем человека, позволявшего себе чуть больше, чем следовало. Его крупная голова как будто еще немного увеличилась, отчасти из-за появившегося второго подбородка.

Олег, как всегда, был одет в дорогие бренды. Голубая тенниска от Ральфа Лорена оттеняла бледную, незагорелую кожу. Сразу становилось ясно, что человек в местных широтах не провел еще и дня. Плотные хлопковые шорты неизвестной марки ничуть не умаляли солидность и респектабельность хозяина, как это бывает с более хрупкими людьми на курортах, где приходится открывать руки-ноги. Завершали образ Олега-модника мокасины «Прада» из мягчайшей кожи бордового цвета.

Весь гардероб старого друга был подобран тщательно и должен был, как семафор на железной дороге, давать сигнал всем встречным о том, что перед ними самый достойный из достойнейших. И все же, как было и в юности, что-то в его облике выдавало простецкость, сбивало градус богемности. Возможно, его крупный нос, почти картошкой, на широкоскулом лице, становившемся с годами только шире. А может быть, небольшие синие глаза, которые Олег не случайно прятал за стеклами многочисленных затемненных очков — они явно были маловаты для такого масштабного во всем облика. К тому же, сколько помнил Андрей, Олег всегда боролся со спадающей волнистой прядью русых волос, что делало его несколько похожим на тракториста из старого советского кино.

— Как ты меня нашел? — спросил Андрей, пока Олег вытаскивал из сумки нужный сверток и бутылку «Боланже».

— Говорю же, я навестил твою матушку. Кстати, она меня встретила более радушно, чем ты, сухарь... И вообще,

ничто не может быть тайным для выдающегося русского пианиста Олега Якубова.

Он встал в горделивую позу, как будто для парадного портрета, театрально тряхнув кудрявой прядью. И вновь захотел. Волнистые волосинки так и остались прилипшими к потному бледному лбу.

— Да уж, ты всегда у нас был выдающийся. Лучше сядь, а то ты похож на снеговика, который заблудился и оказался в южных широтах.

— Не дерзи. На, лучше читай письмо и ешь свои конфеты. А я пока поищу у тебя бокалы для шампанского. Кофура такая, что наверняка приличного ничего не найти.

— Если честно, я вообще не представляю, что здесь есть.

Андрей отложил насыпанные в прозрачный шуршащий пакет шоколадные батончики и достал из незапечатанного конверта письмо. Сидя в кресле напротив Олега, Андрей начал читать. Он сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Из непривычного кресла ракурс номера оказался другой, вернее, он совсем не узнал свой сюит, в котором за последние дни стал обживать и даже этому радовался. Но теперь как будто все пошло не так. В присутствии Олега он делал не то, что хотел, говорил не то, что думал, все вокруг становилось чужим, не имеющим к нему, Андрею, никакого отношения.

В письме говорилось, что дома все хорошо, мама старается переслушивать что-то из их коллекции записей, и это ее очень поддерживает, впрочем, Жанна Аркадьевна тоже ей очень помогает, даже не знает, как бы она без нее справилась, им многое удалось сделать за это время, но подробнее она лучше расскажет в следующий раз по телефону, кстати, знает ли он хотя бы приблизительно дату своего возвращения, ее все об этом спрашивают, да и она скучает, ведь так надолго он никогда не уезжал, а еще она посылает его любимые батончики, «Рот Фронт», как в детстве, она обнимает своего дорогого сына, передает приветы от друзей

и знакомых, желает удачи и просит обязательно носить на солнце головной убор и темные очки, есть суп и не забывать мыть фрукты с рынка.

Андрей порадовался шутливому тону последних строчек. В конце, после всех прощаний и подписей, на нарисованных от руки пяти линейках чернели четыре ноты. Он их сразу узнал: это было начало одной из пьес сборника Листа «Годы странствий», сама пьеса называлась «Тоска по родине». Ми, соль, ля, си. Такая простая и прозрачная фраза, которая сразу дополнила то, что было недосказано.

Мама Андрея всю жизнь проработала учителем в детской музыкальной школе и владела многими техниками, позволявшими ей раскрыть таланты своих подопечных. Как человек творческий, многое придумывала сама. Так, с детства они играли с матерью в игру, где по первой фразе, буквально по нескольким записанным от руки нотам, надо было угадать все произведение. А когда Андрей стал постарше, они иногда в шутку между собой так и изъяснялись, особенно если чем-то не хотелось делиться с окружающими. После смерти отца, а он ушел рано, отношения с матерью стали еще теснее, и эти игры только усиливали особую связь между ними.

Тоска, переданная из дома в письме, разбередила Андрея.

— А конура твоя в общем и целом ничего. Я даже холодильник нашел, а в нем лед. Наверное, здесь полагается официанта приглашать для всех этих ритуалов. Но предлагаю не заморачиваться, а вспомнить молодость и открыть бутылку самим.

— Ну конечно! Скажи еще, что мы тогда французское шампанское пили!

— Некоторые пили... хотя бы изредка. Ты что, забыл, с кем имеешь дело? Я ж появился на свет в каком роддоме? Правильно, в Грауэрмана! Это ты у нас провинциал несчастный. А в некоторых приличных московских домах хорошо

знали, что такое «Боланже». Это сейчас, как попугаи, все твердят «боллинджер» да «тайтингер». В театрах девушки просят два «моёта»! Вот же темнота.

— Да это они в шутку...

Андрей никогда не обижался на подтрунивания Олега, хотя они порой выходили за рамки допустимого. Но друг есть друг, друзьям надо все прощать, и он вновь поймал себя на том, что, несмотря на всю разницу между ними, а она была во все времена, он очень рад этому визиту.

Олег с привычной ловкостью открыл шампанское, разлил в тонкие бокалы и поставил бутылку в самодельный кулер из непонятно откуда взявшейся широкой вазы, наполненной льдом. Андрей даже не заметил, когда Олег успел все это проделать.

— Ну что, за твой приезд?

— За нас и наше будущее, — с энтузиазмом воскликнул Олег, с жадностью отпив шипящей жидкости.

Андрей сделал глоток и, не выпуская из рук бокала, теперь как будто внимательно наблюдал за игрой пузырьков оставшегося в нем шампанского.

— Жду с нетерпением, когда же ты мне наконец при- знаешься, зачем приехал.

— Судя по местным видам, спешить здесь не положено. И вообще, ты мне еще не рассказал, чем ты тут занимаешься тайне от всех. До меня дошли слухи, что ты все же раскопал, что хотел. Видимо, я стал первым слушателем того самого, заветного и подлинного?

Андрею не очень понравился тон Олега. Его друг тем временем подошел с бокалом к роялю и бесцеремонно заглянул в ноты.

— Подсматривать неприлично.

— Брось. Я недавно мастер-класс давал для корейских студентов, про тебя вспоминал, они такие же зажатые, как большинство наших были, и ты в том числе. А то, что ты играл, когда я вошел, могу тебе и без нот сказать, что вряд ли

это публика воспримет. Ты вообще для чего это готовишь, для д'Антерона, Вербье?

— Еще не решил. Но это необязательно будет фестиваль. Думал сольник сделать, с особой программой... для тех, кто понимает.

— Опять этот сноби-и-изм, — протянул нараспев Олег, манерно закатив глаза. — Ты еще всем Расскажи про элитарность классической музыки. Сколько помню, всегда ты не тем занимался. Искусство, между прочим, принадлежит народу. А ты жадничаешь. И не даешь простым людям насладиться. Короче, у меня к тебе предложение.

Андрей напрягся, но старался виду не подавать.

— Слушаю тебя внимательно.

— Есть идея. Мы с тобой делаем небольшой тур для начала, двойной сольник. Ты и я. Весь мир падет к нашим ногам. Представляешь? Два топовых имени на одной афише. Программу составим соответствующую. Кстати, и готовить ее не придется. Все вещи известные. Маркетологи в очередной раз доказали, что публика лучше всего воспринимает то, что ей хорошо знакомо, а не вот эти вот ваши дебри непонятные. И вообще, я уже договорился с надежными людьми.

Поджав губы, Андрей почти незаметно качал головой и смотрел куда-то вниз. Олег продолжал:

— Все в один голос говорят, что успех будет мощнейший, билеты раскупают заранее. Цену поставят такую, что мы с тобой затмим и трех теноров, и кого угодно из мегазвезд. Публика будет сидеть в первых рядах такая, что от блеска брильянтов глаза заслезятся. А не эти бабки-библиотекарши в вытянутых юбках.

Андрей поднял на Олега глаза, в которых появилась твердость:

— Не имею ничего против старушек из библиотек. Твои вины в последний раз на новогоднем концерте вели себя так по-свински, что хотелось закрыть рояль и уйти.

— Это не мои вины.

— И вообще, Олег, мы с тобой старые друзья, поэтому давай без экивоков. Не нравится мне твоя затея. Ты прекрасно знаешь, что такая программа не для меня. Совсем уж попсу, на потребу публике, я никогда не исполнял и исполнять не собираюсь. Проект со всех сторон какой-то мутный. Зачем мне это?

— А деньги тебе совсем не нужны?

— Да мне хватает и без таких чесов...

Андрей задумался и посмотрел на Олега внимательно. Тот посерьезнел и как будто стал еще бледнее.

— Так ты из-за денег? Я могу тебе просто одолжить.

— Сколько мне надо, у тебя нет.

— Слушай... Ну давай подумаем. Выход всегда есть.

Олег рассеянно прошел к балкону и вернулся к креслам. Наполнил свой бокал шампанским и залпом выпил. Покрутил головой в разные стороны, как будто разминая шею... и вдруг быстро засобирился. Он открыл и закрыл свою сумку, подошел к роялю, стоя ударил нервно по клавишам, закончил бравурным пассажем в верхних октавах. Остановился на секунду, тряхнул неизменной прядью и пошел к двери. Ухватившись за ручку, он обернулся:

— Окей, не бери в голову. У меня через три часа самолет... Пока.

Дверь за Олегом аккуратно закрылась. Все закончилось так стремительно, что Андрей не понял, было все это наяву или только привиделось. И почему его друг так быстро сдался, согласился с отказом, не стал убеждать, как это бывало.

Андрей опомнился и решил его догнать. Быстро сбежав по лестнице со второго этажа, он увидел только дежурного за стойкой. В фойе никого не было. Дорожка от его крыла, ведущая через сад к основному зданию отеля, также была пуста.

Оглядываясь в растерянности по сторонам, он заметил девушку. На ней была униформа медсестры, напоминающая

восточный национальный костюм. Брюки и зауженное китайское платье ципао на воздушных пуговицах и петлях превращало ее в персонаж восточной гравюры, от которой было трудно отвести взгляд.

«Какая хорошенькая», — на секунду подумал Андрей.

*

Он решил пообедать за пределами гостиницы и направился в сторону променада. К тишине его уединенного корпуса, нарушаемой лишь звуками волн и криками чаек, постепенно прибавлялись людские голоса. Он слышал английскую речь курортников-иностранцев, иногда — реплики торговцев, переходящих с английского на местный диалект. Здесь говорят на многих языках, и то, что слышал Андрей сейчас, видимо, и был основной, так похожий на язык птиц. Ему нравилось прислушиваться к этому чириканью со многими смягченными согласными — как будто кто-то шутиливо или по-детски передразнивал испанскую речь. С голосами прячущихся в сочной растительности птиц разговор местных жителей образовывал какую-то удивительную гармонию. Андрею даже пришло в голову: не зависит ли звучание любого языка от той природной среды, в которой он рождается.

Андрей дошел до той части променада, где сосредоточилась бóльшая часть здешних ресторанов и кафе. За проведенные на острове дни он успел изучить почти каждое из этих заведений, но, как это обычно бывает, все чаще выбирал либо корейский ресторан, до которого надо было пройти дальше, к дороге, ведущей от океана, либо итальянский, где шеф-повар Джузеппе лично приветствовал гостей и натирал им на специальной терке в тарелку трюфель. Сегодня он остановился у рыбного — под банальным названием «Лагуна». Столики в нем были уютно скрыты

под навесами, увитыми тропической зеленью, но близость к воде давала возможность обедать и одновременно любоваться морским пейзажем. Он выбрал место поближе к воде и подальше от улицы. Это однообразие морского пляжа обычно не надоедало, напротив, убаюкивало, настраивало на ровный, умиротворенный лад.

Но сегодня, после визита Олега, Андрея охватила некоторая внутренняя тревога. Даже райский вид изогнутых пальм, белого песка, разной синевы моря и неба уже не успокаивал. Более того, стал казаться безвкусной открыткой, рекламой дешевого удовольствия.

Он выбрал из меню рыбу под нежным названием лапу-лапу, хотя в действительности это был красный окунь, известный в других странах как группер. Попросил официанта не делать соус к нему слишком острым. Широко улыбнувшись, официант ответил, что помнит об этом.

Ну да, Андрей же заказывал у них и в прошлый раз то же самое. Как-нибудь надо будет попробовать что-то еще.

Какие все же местные жители здесь внимательные, корректные, как с ними комфортно. И будто в подтверждение его мыслей, официант в ту же секунду поставил на стол воду, стакан со льдом и тарелку с нарезанным лимоном.

Надо же, это было и в прошлый раз. Умеют они, конечно, все для клиента устроить...

Он лениво оглядывался по сторонам: яркий летний день, плеск волны вдалеке, негромкий гул променада.

Может, надо было пригласить Олега на обед? Успели бы до самолета. Здесь все рядом... Разговора-то как будто не получилось. Андрей сожалел, что они так неуклюже расстались.

Вдруг среди людей, идущих по улице мимо сувенирных лавочек и ресторанов, он заметил голубую тенниску, облегающую широкие плечи. Андрей рванул к выходу, пытаясь как можно быстрее обогнуть мешавшие ему на пути столики и не потерять из виду знакомую фигуру, но пока выбежал на улицу, фигура исчезла. Да и была ли она?

Наверное, показалось. Нехотя оглядываясь по сторонам, Андрей вернулся к своему месту.

Рыбу уже принесли, и можно было приступать к трапезе. Но мысли не давали ему покоя. Почему всякий раз, когда появлялся Олег, он, Андрей, как будто терял равновесие? Олег словно заражал каким-то микробом своей, отличной от Андреевой, сущности. Он отметил то же самое про себя и в номере, в присутствии Олега. Но даже теперь, когда друг ушел и, возможно, уже уехал в аэропорт, Андрей чувствовал его присутствие, и это как будто царапало изнутри, не давало вернуться мыслями к привычным делам и планам.

Кстати, о делах. У него же массаж в четыре часа.

*

Андрей родился в Мурманске. Папа и мама всю жизнь преподавали в провинциальных музыкальных школах. Жили скромно, скупое. Домашняя обстановка напоминала казенную: минимум вещей, чтобы было легко собраться, если вновь переведут на работу в другой город.

Помню: темное морозное утро, которое почти не превращалось в день. Ночная темень переходила в серую снежную густоту — то ли облако, то ли туман, готовый как можно быстрее вернуться в привычную ночь. Иногда эта затянувшаяся тьма становилась особенно морозной и особенно прозрачной. Помню: санки, и я в них почти лежу, тщательно упакованный в шубку и меховую шапку на завязках. Вижу мягкий свет окон, проплывавших мимо, и далекие колкие огни фонарей. Помню: звучание мороза, оно всегда было разным — мамы шаги по плотно утоптанному снегу, ее зимние сапоги на каблучке давали звук высокий, торопливый и даже резковатый. Когда санки вез отец, его зимние ботинки звучали совсем по-другому — низко, размеренно и мягко. У санок был свой голос — полозья по снегу, как и коньки

по льду, выдавали песню, отчасти похожую на ту, что звучала на кухне, когда отец точил ножи.

В первую музыкалку Андрея отдали довольно рано, не по правилам, поскольку родители в ней и работали. Это было небольшое двухэтажное здание, служившее пристройкой к старому кинотеатру, еще довоенному.

Помню: толстые, обитые коричневым дерматином двери и оплывшие, крашенные много раз перила на главной лестнице, ведущей от входа и тесных классов первого этажа к более просторным классам и залу наверху. Коричневые доски пола отчаянно скрипели, двери гулко хлопали, но все эти звуки перекрывались голосами музыкальных инструментов — звенящих пианино, фальшивящих скрипок, переливающихся домр.

Моего отца, как директора музыкальной школы, переводили из одного города в другой. Из Мурманска мы ехали в Уфу, из Уфы — в Кустанай. Сборы стали частью жизни.

Перед каждым таким отъездом мама подводила Андрея к дверному косяку, помещала ему на голову для ровности книжку и рисовала под книжкой черточку и дату. Родители радовались, как здорово Андрей за время жизни здесь подрос.

Сколько же было этих косяков... Помню один косяк, белая краска которого была сточена, чтобы дверь могла закрываться. И засечки, нанесенные, как деления на градуснике, на обнажившееся дерево химическим карандашом, немного расплывались своей фиолетовостью. На другом косяке, блестевшем желтоватой от старости белизной, была только одна отметина, и в каком это было городе, сейчас уже и не вспомнить. Но он где-то есть и сейчас, и под слоем более новой краски хранит тогдашний отпечаток моего детского «я».

Вместе с сантиметрами прибавлялись и обязанности по сборам. Сначала мне велели самому собирать свои книжки

и игрушки. Первым делом я разыскивал по квартире любимого бело-серого зайца с надорванным ухом, которое мама уже несколько раз зашивала, но оно рвалось опять. Каждый вечер я укладывал зайца с собой в кровать, но на утро не мог найти — тот оказывался то под подушкой, то под кроватью, то внутри пододеяльника. Еще был пластмассовый клоун в ярко-зеленом колпаке, от которого исходил необычный химический запах. В тряпочную большую сумку я сгружал красную пожарную машину и детали алюминиевого конструктора с дырочками. Из книг я особенно любил раскладушки — из них можно было построить лабиринты, мосты и домики.

Со временем подросшего и потяжелевшего Андрея стали просить помочь, когда плохо закрывался чемодан.

Как мне это нравилось... Приходилось иногда даже прыгать на крышке, чтобы чемодан наконец поддался и блестящие никелированные замки победно защелкнулись. Полупустая квартира перед отъездом звучала совсем не так, как в обычное время. Я прислушивался к едва заметному эху, сопровождавшему разговор родителей в гостиной. Оно означало, что меня скоро оденут, завяжут колючий шарф под поднятым воротником шубки и все вместе мы отправимся на вокзал, где уже в ночи другие, очень особенные, запахи и звуки будут будоражить и вызывать смутные предчувствия.

Новые города и новые школы не прибавляли Андрею друзей. Свой мир он возил с собой бережно, охраняя его от новых людей и обстоятельств. Переезжая с места на место, трудно сохранить четко очерченные границы семьи и своего личного пространства. Родители знакомились с коллегами, кто-то помогал по-соседски и даже по-дружески устроиться на новом месте. В доме появлялись дети знакомых, чтобы Андрей не чувствовал себя одиноко и мог с ними подружиться. Но ему было трудно привыкнуть к новому

окружению. Нельзя сказать, что это были несимпатичные или недоброжелательные люди, но сойтись с ними, пустить их в свою жизнь — нет, это было невозможно.

Меня не оставляло чувство, что я с ними ненадолго, и все равно — скоро уезжать. Даже не слишком меня обижало, когда в школе узнавали, что мой отец — директор не какого-нибудь завода или магазина, а всего лишь музыканта. В табели о рангах, негласно существовавшей у моих одноклассников для всех директоров, мой отец оказывался на нижней ступеньке. Но зато у меня были заяц, книжки и музыка.

Из-за частых переездов инструмента хорошего дома не было. Поэтому Андрей заводил дружбу с одним из тех, что стояли в свободных классах школы. Это было намного проще, чем с людьми.

Я открывал облюбованное пианино, уже не лакированное блестящее, а почти матовое, затертое, с царапинами от папок и нот. Петли крышки были разболтаны, и складная планка и пюпитр чуть не выскальзывали из рук. У каждого пианино был свой голос, и я выбирал те, что звучали более приглушенно и мягко. Инструмент казался живым существом, и очень не хотелось его пугать или огорчать. Я прикасался осторожно к слегка пожелтевшим клавишам, и это живое существо охотно отзывалось. Я предлагал арпеджио — и пианино гордо спешило показать, как хорошо оно настроено. Понимание устанавливалось с самых первых минут. У старых инструментов на фронтальной панели был свой рисунок, своя геометрия — у кого угловатая, у кого с закругленным орнаментом. Это было как лицо на уровне глаз. Когда за инструментом сидишь долго, кажется, что он смотрит на тебя и ждет, когда же ты наконец выучишь эту фразу.

После очередного переезда семья решила, что Андрей должен иметь постоянное место для жизни и учебы. Так он

поступил в школу при Московской консерватории, где для иногородних детей в тот год открыли интернат. К новой школе привыкнуть было нетрудно. Классы с инструментами были похожи на те, где он учился раньше. Только звучали инструменты как будто правильнее, что ли. Вместо бесконечных «Лир», «Аккордов» и в лучшем случае «Красных Октябрей» здесь стояли «Бехштейны» и «Блютнеры». Они как будто не терпели ошибок, и это обязывало. С ними было сложнее общаться.

Старый «Бехштейн» в моем классе сразу все выдавал — при малейшей ошибке, неточности, погрешности. С ним нельзя было смазать аккорд, зацепить лишнюю клавишу. В тот же миг это делалось заметно, и все вокруг понимали: сегодня ты халтуришь, друг. После урока ты тащился в свободный класс, чтобы хотя бы в следующий раз все было по-другому.

К интернату привыкнуть было труднее. Это очень старое, по-офицерски суровое здание как будто не хотело становиться домом для своих жильцов, особенно для новеньких. Оно равнодушно обязывало юных постояльцев подстраиваться под него. Летом и теплой осенью здесь всегда было прохладно, и это даже настраивало на рабочий лад. Но зимой объемы здания под высоченными потолками не прогревались и не хранили тепло. Вытянутые вверх узкие окна заклеивали специальной бумажной лентой, но это мало помогало. Зимние ветра заставляли местами отклеившиеся ленты трепетать — они как будто что-то шептали ночами. Холод из щелей врывался острой и резкой струйкой, напоминая металлическое лезвие ножа. Форточки были почти под потолком, их старалисьшний раз не откупоривать: из-за многих слоев краски они словно врастали в раму и открыть их было трудно. Одинаковые комнаты учеников располагались строгим военным строем вдоль длинного коридора. В комнате Андрея жили еще два мальчика. Ночью

становилось душно, но открыть форточку воспитатель не разрешал.

Сначала нам казалось, что будет даже забавно — жить вместе в одной комнате. Можно всю ночь, как в пионерском лагере, рассказывать страшилки или придумывать разные забавы, например измазать соседа нагретой в руке зубной пастой. Но день с учебой был такой длинный, что сил на развлечения уже просто не хватало. Мои соседи были всерьез настроены на то, чтобы победить в каком-то конкурсе или сыграть лучшие всех на отчетном концерте. Так я не сразу, но довольно быстро понял, что иногородние или даже иностранные дети — а такие тоже учились с нами — были более честолобивы и упорны, чем москвичи.

Впечатления от столицы накапливались постепенно, не сразу. И это был не только короткий путь из интерната в здание школы — из одного переулка в соседний.

Помню ледяную черную катушку на тротуаре, по которой мы скользили среди снега. А чтобы повернуть, хватались за серый металлический столб и уже сами, разгоняясь несколькими шагами на утоптанном снегу, пытались ехать на подошвах, как на лыжах.

В перспективе переулка начиналась шумная Москва. Там ползли рогатые троллейбусы, гудели машины. К уличному гулу добавлялся шершавый скрежет широкой дворницкой лопаты, сгребавшей снег с тротуара, металлический грохот и въедливое жужжание сварки каких-то строек за огромными заборами.

Москву я воспринимал через торжественные и горделивые центральные входы в большие здания. Главный подъезд с колоннами превращал все здание в музыкальный инструмент. Колон-

ны были как трубы огромного органа, на время затаившегося. Вид Большого театра поэтому даже немного пугал: как же в нем должна звучать музыка?

Помню, как в пятом классе нас повели туда на «Евгения Онегина». Спектакль был дневной, начинался часа в два. Открывались тяжеленные огромные двери, и ты из серой хмурой улицы попадал в ярко освещенный сказочный дворец. Нас рассадили в ложах на одном из ярусов, где из-за темно-вишневых бархатных штор с бахромой сцена была не особо и видна. Наверное, поэтому сразу поразило звучание настраиваемого оркестра. Мало того что был отчетливо слышен каждый инструмент, от флейты до контрабаса, — все эти трели, протяжные фрагменты скрипок, гулкие удары барабана, жалобы гнусавого фagота составляли вместе неповторимую гармонию всего, что меня окружало. В этих звуках я слышал и свой вчерашний день, и то, как упал, поскользнувшись, на улице, и как писал сочинение на прошлой неделе, и как играл на уроке пьесу Чайковского — с теми же интонациями, что узнавались и здесь, — и все мои мысли о родителях, учителях, одноклассниках, о снах, от которых я иногда просыпался, и о том, что будет завтра. Казалось, в этих звуках уже есть все и других не нужно. Но когда погас свет и оркестр заиграл вступление, сердце сжалось окончательно и стало трудно дышать. Эта музыка накрывала тебя целиком и вводила в сладкий, но очень сильный ступор.

В консерваторию учеников тоже водили время от времени, чаще всего на концерты для детей. Этот квадрат со сквером во дворе и Чайковским во главе всего ансамбля воспринимался иначе, чем другие большие столичные здания. С каждым разом он становился ближе и роднее.

Первое, что я видел, подходя к консерватории, это был памятник. Казалось, что он здесь главный и был на этом месте всегда. Петр Ильич, дирижирующий невидимым оркестром, как будто имел на тебя разные виды, в зависимости от того,

с какой стороны ты к нему подходил. Если поднимался снизу, от Манежа, то он слушал тебя внимательно и своим жестом как бы просил других помолчать. А если к нему спускаться от бульвара, то он тебя отстранял. В разное время года он выглядел по-разному. Зимой, со снежной шапкой на голове, он явно мерз, что только подчеркивал припорошенный увядший букетик у подножия пьедестала. Зеленоватость его бронзы всегда усиливалась от влаги, и особенно — в период летних дождей, когда мокрая зелень только удваивалась во всех отражениях. Конечно же, увереннее всего Петр Ильич себя чувствовал поздней весной, когда зацветала сирень. Но даже тогда мне казалось, что сидеть ему как-то неудобно, а тем более дирижировать или записывать что-то там в нотную тетрадь под рукой.

Ошеломительное впечатление на приезжего производили широкие улицы, их многорядность, заполненная машинами, автобусами, трамваями, грузовиками. Яркие спектакли, огромные елки в новогодние праздники, какие-то особенно красивые, ладные люди, с правильными голосами, хорошо одетые, — все это оставляло глубокий отпечаток в памяти провинциала, даже такого погруженного в свои музыкальные грезы, как Андрей.

До Москвы Андрей никогда не задумывался о своей внешности, даже если кто-то из взрослых пытался рядом рассуждать, на кого он больше похож. Обычно единодушно считали, что на отца. Ему и зеркало было не нужно, чтобы причесаться.

Только в Москве я стал задерживаться у зеркал: их вокруг было слишком много и я не смог отклонить их настойчивого приглашения. Тут я обнаружил, что хохолок у меня торчит, как у дятла. Впервые я взглядывался в свое лицо, сознательно и даже с вопросом: кто я? какой я? каким меня воспринимают люди? А из зеркала на меня смотрел кто-то не совсем понятный, как будто его рисовали простым карандашом и не дорисо-

вали. Худое лицо с прямыми неяркими бровями, почти не видными на бледном лбу, длинный с горбинкой нос, а ноздри какого-то лошадиного рисунка. Волосы цвета пожухлой осенней травы не добавляли красок, но меня это не очень и волновало. Одно плечо было выше другого, от этого серый пиджачок школьной формы так и норовил застегнуться не на ту пуговицу. Я же похож на отца, а он хороший человек, все его уважают. И вовсе не обязательно быть красивым. Я приближал лицо к зеркалу, сдвигал хмуро брови, сжимал и выпячивал вперед губы, строя гримасу упрямого бычка, потом улыбался себе исподлобья и сразу узнавал мамины черты. И уже с хорошим настроением шел дальше.

Как-то так получилось, что с одноклассниками Андрею сблизиться не удалось. С ними он общался мало, только если что-то нужно было по учебе.

Иногородние были слишком зациклены на своих планах на будущее, не позволяли себе ни лишних прогулок, ни праздных разговоров, им я старался не мешать. А среди москвичей, у которых свободного времени было побольше, я чувствовал себя чужим. Они могли запросто сбежать с урока математики в кино или отправиться к «Метрополю» поглазеть на иностранные машины. Мне это было неинтересно.

Ближе мне оказались москвички-девчонки, но только как друзья, — более аккуратные, ответственные, организованные. Хотя особых целей они себе не ставили, просто были такими по своей природе. С ними не надо было куда-то тащиться.

Девчонки вообще больше сочувствовали иногородним — наверное, в силу врожденной девичьей эмпатии. Вернее, они себя им не противопоставляли, не держали на расстоянии. Или мне так казалось. Мы легко давали друг другу тетрадки с решенными задачами, чтобы быстро списать и уже не думать об этом. Девчонки — не все, конечно, — подсказывали на уроках. Однажды мне пришла записка от Абрамкиной и Петровой: «Людка Дроздова в тебя влюбилась». Не могу сказать, что этот клочок бу-

мажки в клетку меня как-то задел. В сообщении не было ни зло-радства, ни обиды, ни желания меня дразнить или порадовать. Скорее, это была провокация, и кому-то хотелось посмотреть, как я буду реагировать. Я только смял бумажку, положил ее в карман, чтобы потом выбросить в урну, и уже вскоре про это забыл.

Иногда и девчонки звали в кино, но я игнорировал эти приглашения. Фильмы, выходившие в то время, я знал только по афишам и кое-что посмотрел уже взрослым. Потом до меня дошло, что самые дерзкие планировали разойтись парами и устроить из этого похода свидание. Я никак не понимал, что им всем от меня надо. От них я точно ничего не хотел.

Ксения во всех этих девчачьих разговорах и заговорах не участвовала. Она занималась учебой, ходила всегда с книжкой и читала при каждой возможности. Много времени в школе уходило на ожидания — то урока сольфеджио, то специальности. Она садилась на широкий низкий подоконник или заходила в пустой класс и открывала книжку. Почему-то хотелось подойти и спросить, про что там написано.

Я совсем не думал о том, какая у нее внешность. Видел только издалека ее силуэт на фоне окна, замечал гладкие густые каштановые волосы, схваченные на затылке резинкой. У нее была привычка теревить и крутить пальцами кончик хвоста или подносить и держать его над верхней губой, как будто она его нюхала. Черты лица, как у любой брюнетки, были четко прорисованы — брови и ресницы казались даже слегка накрашенными. Но что меня всегда смущало, так это цвет ее глаз. Я точно знал: не должны они быть такими светлыми, сероголубыми, а должны быть карими. Это несоответствие мне мешало иногда чувствовать себя вполне свободным в общении. Хотелось напомнить об ошибке.

С Ксенией можно было говорить о чем угодно. Казалось, она знает все. В отличие от других девчонок в классе, ей легко давалась математика. На литературе каждый раз выяснялось, что она уже прочла книжку, о которой говорили. Она хорошо

разбиралась в музыке: в доме была большая коллекция пластинок, в том числе зарубежных, с записями лучших исполнителей и концертов.

Мама Ксении работала в ГУМе и могла достать любую дефицитную пластинку или книжку. Папа был большим начальником в каком-то министерстве. Жили они неподалеку, на улице Грановского. И однажды меня пригласили на ее день рождения.

В тот вечер все было необычно. Солидное здание с множеством архитектурных украшений было похоже больше на музей, а не на жилой дом. С одной стороны, ровные, одинаковые, монотонные ряды окон выдавали военный характер этого места и, наряду с посеревшим грязным снегом поздней зимы, настраивали на безрадостный лад. С другой — желто-розоватый оттенок и прихотливый рельеф стен делали его похожим на кондитерское изделие: как будто его сложили из пастилы и добавили кремовых розочек от тортов. Через квадрат внутреннего двора с высоченными старыми деревьями надо было пройти к подъезду левого крыла, а потом приложить немало сил, чтобы открыть тяжелую створку двери. На третий этаж я поднимался по изношенным ступеням, и это было очень неудобно. Они были не только слишком низкими, что заставляло тебя семенить или широко перескакивать через несколько, они еще были стесаны от времени, и казалось, будто приглашают тебя скатиться по этой волнистой горке.

В квартире меня поразили высокие потолки, старая мебель и множество красивых ярких вещей, от которых становилось даже тесновато. Особенно запомнился огромный буфет с резными дверцами и разноцветными стеклышками. Хотелось вытянуть один из многочисленных ящичков и заглянуть внутрь, там наверняка лежали старинные пиастры и другие сокровища, как в книжке про пиратов.

Первым делом Ксения похвасталась своими пластинками. Она удивила меня тогда, сказав, что когда станет концертующей пианисткой, то будет исполнять только Баха, почти как Гульд, и что ей больше всего нравится, как играет Юдина,

и что из наших преподавателей так никто не может. Я тогда впервые держал в руках пластинки с записями и Гульда, и Юдиной. И не мог думать больше ни о чем.

После этого дня рождения мы с Ксенией много общались в школе. В ней совсем не было заносчивости. И при всех ее смелых высказываниях на дне рождения, в школе она держалась со всеми скромно, но с чувством достоинства. Мы спорили о Шумане, читали главы из книжек. Я был настолько поглощен этими разговорами, что мог запросто, увязавшись за Ксенией, зайти невпопад в чужой класс во время урока или завернуть в женский туалет.

Однажды в конце седьмого класса, перед отчетным концертом, Ксения появилась в бархатном платье необыкновенного синего цвета, украшенном белым кружевным воротником. Я не понимал, что происходит: то ли этот синий бархат отблескивал легкий загар ее лица и сделал более глубокими ее серо-голубые глаза, то ли каштан убранных в балетный пучок волос стал еще более каштановым, но я впервые увидел, какая она красивая. И испугался. Замкнулся в себе. Отстранился.

Ксения тогда обиделась, не понимая, что произошло. А я впервые почувствовал опасность, исходящую от женского пола. Я столько лелеял и берег все то, что было внутри, и в первую очередь свою музыку, так хорошо и удобно разместил в этом во всем самого себя, что, казалось, еще один человек там не помещался...

*

Андрей петлял по белоснежным коридорам «Тадж-Махала» в сторону СПА-зоны и проклинал себя за то, что поддался уговорам улыбчивого персонала на ресепшене и записался на массаж. Вчера администратор за стойкой — сухопарый, с блуждающей улыбкой немолодой метис-азиат — ловко завел разговор. Нравится ли ему у них отдыхать? Есть ли